Ребенок, девочка неполных двух лет, еще не говорит отчетливо, только слогами. Мызгает во рту кусок пирога и с высокой лавки закидывает на стол обеденный то одну, то другую ножку в кожаной пинетке. Она закидывает и смотрит испытующе на реакцию родителей. Глаза любопытные, синие, озорные, словно спрашивают: «А что вы сделаете, если я так?..» Глядя на нее, думал: сколько ей, этой девочке, придется еще перетерпеть, понять, почувствовать. И воспитания, и огорчений, связанных с воспитанием и испытаниями... Сколько ей еще наживать опыта, а главное — зачем? Ведь все кончается одним и тем же для каждого из нас... Это «наживание опыта» и сочувствия, умения сострадать через свою боль и сопоставление с другими — было бы никчемной глупостью, если бы душа не могла бы относить этот опыт туда, в небытие, в пакибытие свое...

Нет, тут, верно, важен даже не сам опыт, а именно: «изделие», полученное от всей жизни. И именно выковка этого «изделия», выковка души человеческой. Бог — кузнец, горшечник? Кует и лепит. Думать так было бы примитивно, конечно. Что Бог — скульптор душ, но больше даже именно через чужие руки работает Он. Порой враждебные нам руки. Мы обижаемся на молоток и напильник в Божьих руках, — так как обижались бы именно на руки Творца. И все мы незаконченные изделия — незаконченные, пока еще живем и дышим, пока в силах хоть

что-то менять в себе по своей воле и воле Демиурга... Он держит нас, Он работает над нами. Мы податливые изделия, над которыми трудится Бог неустанно, обваливая нас в песке и тлене и притирая друг к другу. Обкатывая нас, как морские голыши, друг о друга. И именно море, океан — вот что наиболее, как стихия, идентично самой жизни, образу нашего бытия... Море, стирающее наши (друг о друга и каждому) бока.

Что же из этого следует? Зачем мы, «обкатанные», Ему? Неужели только такие мы и сможем продолжать бытие в «иномире»... Иногда этакое «притирание» трагически и внезапно конечно. О чем это говорит? Лишь подтверждает то, что «у Бога все живы». Для Бога нет никакой разницы, дышишь ты или ушел к Нему. Плоть — вовсе не подтверждение этой жизни. Так скульптор или кузнец после того, как затвердеет изделие, доводит его напильником или молотком, сбивая лишнее.

...Девочка, присмирев, закинув ножку на стол, смотрела на взрослых. Стояла на другой и смотрела мне в глаза. Наверное, была удивлена, почему я не ругаю ее и не удивляюсь, не поучаю ее... Она, верно, кое-что уже понимает. А я думал о том, желал бы я снова стать вот таким первоизделием, глиной, самородком — и вновь испытать боль приобретения опыта, зачатков нравственности? Желал бы я оказаться на ее месте и, испытывая этот мир, баловаться в нем? Какое же изделие пожелает вернуться в скалу, в глину, в ничто?

* * *

Судя по обилию боли и всяческих перипетий в жизни человека, — одна из главнейших целей жизни — в воспитании именно воли. Терпение и смирение — качества, о которых так много говорит церковь. Не податливость и слепая покорность, вовсе нет, даже напротив: следствие воспитанной, готовой уже воли к Божьим приказам, к приятию Промысла, к отсечению своей воли — вот величайший героизм и цель жизни. Не «прыжок веры» как абсурд, а именно высота духа...

Главная ошибка «волюнтаристов» (Ницше, Шопенгауэр, Макиавелли...) — в том, что они полагают меру великой силы воли в проявленных победах над другими. Главный же показатель созревшей воли — способность побеждать именно себя: «Победа из побед — победа над собой».

Но для чего Богу волевой человек, — или это значит, что Богу нужен воин? Не генерал, не майор, а именно солдат. Но в таком случае, каковы же условия существования «там»? Если не мягкотелость, а именно жесткость по отношению к себе и воля — как первейшие качества, необходимые для жизни с Богом, в «иномире»? Значит, благолепие и беспечность рая — пустые выдумки? В «иномир» необходим только сложившийся, крепкий человек. Не расслабленный и благостный «нюня», но кремень, истый воин, твердо верящий своему военачальнику в духе. Это обстоятельство хорошо понимали первые святые, именно отсюда — тяжкий ежедневный их труд, вериги («Гнету гнетущего мя»), юродство, стояние на камне, бдения. И смерть, наконец, — как последний экзамен, самый жесткий и бесповоротный. «Без права на пересдачу».

Тогда становится понятно, почему самоубийство — то есть несдача экзамена, отказ, бегство с поля боя — не прощается Главнокомандующим. Часовой, покинувший пост, потому что было холодно или дождливо, нестерпимо морозно или страшно от приближения врага, — такой солдат не годен и на следующую ступень. Ступень, следующую для жизни души, может перешагнуть лишь мужественный. А эта жизнь по ту сторону, несомненно, есть, и несомненно, что бытие здесь — лишь подготовка в мир иной. Все рассуждения о том, что «мир абсурден» и ему нет до нас никакого дела, как ветру до цветочной пыльцы, — наивность. А значит, настоя-

щая борьба — не здесь, а именно там. Именно там бой, а здесь лишь подготовка. И борьба «там» — она много сложнее, чем испытания здесь, раз «туда» отбирают лишь избранных, достойно выдержавших первые трудности здесь. Отсюда и вывод, что духи злобы поднебесные — вовсе не выдумка досужих бездельников.

Не случайно святые в Православии не только выдерживали бои уже в реальном мире, но даже и усложняли его: носили вериги до крови, и пост, и бдение, и постоянная молитва (то есть внимание к голосу Главнокомандующего, угадывание его святой воли).

* * *

Говоря об «архетипах» наций... «Странность», «непонятность» русского человека для иностранцев — хлебосолье, широта души, искренность и поиски искренности — все это объясняется просто: русский живет не этим миром, не только видимым миром живет. Отсюда и непонятный для них героизм русских в войнах. И это генетически и кровно давно усвоено русскими и свойственно им. Так же, как оптимизм, хитрость, находчивость евреев в торговле, в делах денежных, ростовщических, как тяга к порядку, построению и легендарная храбрость немцев, замешанная на древней тяге к коллективному самоубийству, как некая петушиная спесь, иронизм французов и т.п.

И вот, если уж он, русский, срывается в другую сторону — к воровству, к тратам — тут тоже нет никакого удержу. Нет меры ни в чем. Потому что для него глубинно нет идеи самосохранения, им не ценится бытие этого мира, потому что он предполагает (и не без основания), что здесь это бытие его души не окончится, не погаснет. Ни один представитель никакого другого народа не кутит так безрассудно, часто — необъяснимо пышно и даже глупо, не «пыжит» так, как русский. Тут уж и цыгане, и «режь последний огурец», и много-много еще чего. И эту оторванность, внушаемость русского хорошо понимают западные (с основательно поломанными генетически кодами) народы, вернее, их предводители. Оттого и яростное навязывание нам, внедрение «бородатых Кончит», и «свобода» ЛГБТ-сообществ, и пляски юных «пчелок» на европейский манер, истоки которых в американских публичных домах...

Насаждение страсти к имуществу, к деньгам, к потреблению, к индивидуализму (в пику соборности) обрело невиданные масштабы. Все, что разобщает, индивидуализирует, ослабляет Россию, все, что тащит в иную сторону от соборности, сплочения и взаимной приязни, прививают правдами и неправдами. Уничтожение крестьянства, войны и революции, внедрение доллара в Россию — все это несказанно ослабило страну. Принужденная страсть к доллару девальвировала победу СССР во Второй мировой, сегодня долларовое пространство сжирает и Россию, и русский характер, «глобализует» их...

* * *

В метро, в вагоне подземной электрички, девушка лет двадцати-двадцати двух. Сидит она, стиснутая со всех сторон, прижавшись к не старому еще, живому и бодрому своему соседу. Она прильнула к нему справа и так обхватила его правую руку, обвила ее, как обвила бы лиана дерево. Так забирает она всю руку его себе, обвив своими руками, как можно было бы прильнуть только к очень любимому человеку, на которого надеешься беспредельно, в котором уверен. Так кто же он? Отец? Муж?

Мы в детстве, мальчишками, так обхватывали гладкие белоснежные и белящиеся как известью стволы берез, когда влезали на них. Что-то ее ждет, эту де-

вушку... Что ждет этого ее отца? Мы, мальчишки, так были уверены в том, что жизнь — бесконечно ценный дар. Мы были счастливы полагаться в этом уповании своем даже и на деревья...

Вот встали и вышли они, эти двое, на станции Курская, а я долго еще помнил их взаимное друг к другу тепло, нежность, доверие и преданность, такую очевидную для меня, пожившего, и редко встречающего теперь нечто подобное.

* * *

...С какой яростью, живостью и с каким отвращением Иван Алексеевич Бунин писал книги о революционной и послереволюционной России, книги по беспощадному исповедальному тону, пронзительности и остроте, равные которым едва ли можно отыскать. И по язвительной наблюдательности ничего похожего не знаю. Его повесть «Деревня» и та меркнет в сравнении с дневниками.

Вот слова, названия по отношению к ставшей социалистической России: «Под серпом и молотом», «Окаянные дни»... Это шедевры, образчики великой и праведной ненависти (если только можно назвать шедеврами яростные заметки от весьма наблюдательного и памятливого писателя, с отлично «набитой» рукой, с точным и органическим чувством слова). Но вот что приходит на память: отчего же родного брата и своего учителя Юлия с проклятиями И.А. Бунин не упрекает нигде. Он любил и уважал его безмерно. Безмерно переживал его безвременную кончину... А ведь именно Юлий, этот не последний в своем значении «чернопеределец», народник и революционер, арестовывался не раз и даже ссылался.

Между ссылками учил Бунина французскому, учил журналистике. Сам был отменным журналистом. Разрабатывал и печатал программу революционных действий на будущее под выдуманным псевдонимом Алексеев. Был допрошен дознавателями и арестовывался, отбывал три года в Озерках. Основатель журнала «Среда», он печатал и работы Ленина, Плеханова. Уж коли быть объективным, то начинать бы И.А. если не с себя, то со своей родни. Когда узнаешь это, по-другому видишь попытки советской власти «уплотнить» И.А. Бунина, обыски его матросами, бесцеремонные вторжения, которые так ранили писателя, выводили его из себя, мучили нестерпимой обидой и бессильной яростью до «трясущихся рук» и перебоев в сердце. Как огненно он записывал ощущения, обиду и ярость свои, «бьющееся сердце» свое, унижение до обидных слез.

А вот запись его в 1918-м году: «Андрей (слуга Юлия) все больше шалеет, даже страшно. Служит чуть ли не 20 лет и всегда был неизменно прост, мил, разумен, вежлив, сердечен и мил. Теперь точно с ума спятил. Служит еще аккуратно, но, видимо, уже через силу, не может глядеть на нас, уклоняется от разговора с нами, весь внутренно дрожит от злобы, когда же не выдерживает молчания, несет какую-то загадочную чепуху <...> У него (слуги. — *В.К.*) вдруг запрыгали руки: «Да, да, летит (Россия в тар-татары). А кто виноват? Буржуазия! И увидите, увидите, как ее будут резать, увидите и вспомните тогда вашего генерала Алексеева». Как точен слуга, поразительно. И даже фамилия генерала и псевдоним Юлия-революционера вдруг совпали. Но вот диво дивное: Бунин И.А., повторяю, вовсе не винит ни родного брата, ни его друзей, ни отца своего... А ведь именно они, дворяне, так заморочили головы себе и своим слугам, и самим себе — от безделья что ли, от своей спеси? И уж точно — именно от беспечности, от «большого ума». От сочувствия той народной массе, которая впоследствии разнесет, разорвет свою же страну вдребезги.

Не дворяне ли испортили жизнь и себе, и России? И не однажды. Этот героизм и самоотверженность героическая очаровали даже Толстого. Вспомним, с каким рвением Л.Н. Толстой взялся за роман о декабристах. Троих из декабристов он отыскал и лично расспрашивал. И, изучив многое, вдруг проникся таким отвра-

щением к событиям на Сенатской площади и их предыстории, что роман его о декабристах перерос в «Войну и мир», и мысль ушла совсем в иное русло. Страдавшие родственники И. Бунина, изучи они предмет и предысторию, тоже, пожалуй, разочаровались бы. Ведь князья ходили с красными бантами в петлице, а Синод поддержал февраль... Вот и Бунин — кажется, как ему не сочувствовать. Но кто, как не сами дворяне растревожили «Михрютку», зарядили злобой и завистью? Кто, как не они сами — воспели «Двенадцать»?

А вот за год до того запись, в 1917-м году: «Чуть не с детства я был под влиянием Юлия, попал в среду «радикалов» и чуть не всю жизнь прожил в ужасной предвзятости ко всем классам!» Предвзятость такова, что Бунин всю жизнь гордился своей дворянской кровью, а любимое словцо у него «барин», «барчук». И вот результат: уже через три года такие строки в дневнике: «Сон, дикий сон! Давно ли все это было — сила, богатство, полнота жизни — и все это было наше, наш дом — Россия!» (1921-й год).

* * *

А вот каковы были чаяния и заботы купцов и дворян накануне революционных событий? У того же Бунина читаем в дневнике запись от 1911 года. Обстановка уже предреволюционная. Пять лет назад опубликован рассказ Л. Андреева «Губернатор», три года назад «Рассказ о семи повешенных», наделавший много шума, одобренный Горьким и многими... А Иван Ильин с его на то время приверженностью к анархизму, его «Бунт Стеньки Разина» — бомба при обыске в 1906-м году. А ведь это Иван Ильин, впоследствии шесть раз арестованный и, наконец, высланный из России, оставленный в живых лишь по личному указанию Ленина, в библиотеке которого хранилась его работа (лучшая, на взгляд Ленина, работа о Гегеле). Многие другие — Бердяев, Шестов... И многое с предреволюционным запахом крови, гари печатал уже и сам А.М. Горький. Вот в дневниках Бунина: «Юлий привез новость — умер ефремовский дурачок Васька. Похороны ему устроили ефремовские купцы великолепные. Всю жизнь над ним потешались, заставляли др...чить и покатывались со смеху, глядели, как он «старается», — похоронили так, что весь город дивился: великолепный гроб, певчие... Тоже «сюжет».

Да, «сюжет». И впрямь, кто и что видел, и как видел — даже чрезвычайно наблюдательный и дальнозоркий Бунин. И всего через пять лет — около восемнадцати миллионов убитых и умерших от голода в Первой мировой и в гражданской войне. И затем сданная, видимая уже победа над немцем, проигранная война, которая должна была окончиться в Берлине парадом русских войск, и уже пошиты были и буденовки с кителями из кожи для этого парада.

И буденовки, и кожанки наденет впоследствии ЧК, и — расстрелы, аресты, и пытки... Даже миллионам, «сочувствующим» революции, и «попутчикам» — смерть. Бунин и попутчиком не был. Вынужден был прятать записки своих дневников за подоконник с уличной стороны, чтобы не нашли при обыске. Впоследствии недалеко от дома, где он жил в Москве, на Поварской, недалеко от последнего его пристанища, откроют Дом Литераторов.

«Русский колокол» И. Ильина и «Окаянные дни» зазвучали слишком поздно...

* * *

Перечитывал антологию русских поэтов и думал о величии Православия. Все эти поэты, даже позиционирующие себя как атеисты, все-таки православные по самой внутренней сути своей. Величие их поэзии объясняется одним: это искренний плач об утерянной жизни души с Богом, сожаление об этом. Плач о великой

утраченной Любви слышен, даже если и не называется напрямую в их строках. Эта «тоска по Богу» — в подтекстах, и она свойственна только русским национальным поэтам. Именно это ставит нашу поэзию выше очень многих и многого. Эта экзистенция, эта способность русских поэтов к созерцанию так очевидна...

* * *

Теперь, я многое повидал и думаю, что жизнь любого человека, сама по себе, уже подвиг. Доказать это просто. Каждый, если вспомнит самые свои трудные и неуютные в этом мире дни, обратит внимание на то, что теперь, когда прошло некоторое время, те дни вспоминаются гораздо легче, даже и не без удовольствия, не без ностальгии по давней, страшной жизни. И это при том, что сегодня, при воспоминании о тех тревожных днях, нам все-таки комфортно. Уже это одно доказывает, что минувшее, ушедшее — всегда лучше настоящего, каким бы оно ни было. И, в свою очередь, подсказывает нам, что жизнь — всегда и любая — есть нелегкий труд. И труд немалый. Если бы не свойство нашего мозга стирать из памяти страшное, негатив, жить было бы невозможно.

Порою на судьбу нашу выпадают будничные, незаметные, но великие подвиги, о которых так никто никогда и не узнает. По прожитым годам мы смотрим на эти труды наши как бы с берега в бурю на тонущие корабли...

«Настоящее уныло <...> Что пройдет, то будет мило», — гениально заметил А.С. Пушкин. То же понимают и напоминают нам о том же и святые Православия. О том, что жизнь — великий труд, знают именно они, и лучше многих из проживших.

Силуан Афонский, когда у него диагностировали рак, пустился в пляс. Старцы благодарили Бога, когда чувствовали отпуст. И это не слабость. Они понимали, что отработали уже свою страду в этой жизни, что Бог отзывает их из мира заслуженно. Бог призывает, значит, пора и отдохнуть. «Нет, нет, пора костям на место...» — говорила моя бабушка по матери, прожившая длинную жизнь, оставшаяся вдовой в двадцать лет после войны с детьми... «Нет, нет, пора, пора... под тополя».

Но человек, едва ли не каждый, старея, держится, хватается за ветхое свое жилище, за бренное тело свое. Ему, этому человеку, приготовлены уже хоромы светлые на высоте, в Свете, в Покое и в Радости. А он — нет, мертвой рукой вцепляется-держится за то, что есть, за убогое, старое, больное и нищее. «Но крепко вцапались мы в нищую суму...» — писал Есенин, который и в двадцать был уже по-крестьянски умудрен талантом от рождения, как бы впитал опыт поколений крестьян-«христиан».

Нельзя отказываться от жизни в духе. Конечно, вряд ли убедит это рассуждение, но подумать есть над чем...

* * *

Язычество Европы окончательное, полное уже. Возврата нет, точка невозврата пройдена. Шаржи на Христа и на Магомета — легко, и чтобы отстоять это странное право сумасшедших карикатуристов похабными рисунками оскорблять миллиарды людей, за это «право» выходят правители европейских государств и выводят тысячи ошалевших в Париже единомышленников... А и всего-то требуется не задевать того, что свято для других, зачем? Разве мало тем для шаржей? Какие это странные рельсы «цивилизационной демократии», которую они постоянно экспортируют всем, навязывают, внедряют по всему миру, странам, которые их вовсе не просят об этом экспорте атеистических и релятивистских идей. И вот доэкс-

портировались уже до того, что и у самих ничего не осталось, никакой демократии в том виде, в котором ее понимали бедные древние греки, сочинившие это государственное устройство.

Репортаж по ТВ о покупках в Европе елочных игрушек. В Европе, где, празднуя Рождество Христово, никто даже не упоминает уже, что Рождество это именно Христа, спасшего, спасающего мир от тлена и разложения уже при физической жизни. Только один из нескольких продавцов упомянул в Германии об этом, а упомянув, сказал: «Он Воскрес!» — и стремительно, точно скрываясь с места преступления, убежал в свой европейский магазин. Оказалось впоследствии, что это грек-эмигрант, и именно потому он так эрудирован и храбр.

Говорят, что в Америке-де больше верующих: из протестантов, католиков. На Пасху — вечеринка с Бараком Обамой, Анджелиной Джоли, Клинтонами и другими известностями, без упоминания даже словом о Пасхе Христовой, с плясками дикарскими, аттракционами и крутой попойкой.

Америка — это какая-то обнаглевшая вконец железно-громадная деревня, с утвердившейся плебейско-языческой цивилизацией, раненой психикой, истинно «железобетонный Моргород», вечно чем-то обиженная, недовольная деревня, выстроенная ввысь. Целая страна с психологией глубокой провинции. Не оттого ли там вечно доказывают (и себе, и другим) собственное превосходство. И утверждаются, как только могут утверждаться вечно неуверенные в себе подростки или стареющие, недалекие сумасшедшие. Поразительны их вечно улыбающиеся, всем будто бы довольные физиономии и настрой: кому-то неведомому все время доказывать свою состоятельность, отменную дееспособность и подчеркивать, что все у них будто бы «о'кей».

Срамные пляски-канкан, всегда оскаленные «приветливо» зубы и пожирание напоказ килограммами и поштучно то червей, то саранчи, то горы бургеров, то огромных тараканов... И все за доллары, все за бумажку, на которую, сожрав какую-нибудь тварь, чтобы тебя стошнило, ты приобретешь еще один пылесос или еще одну блузку и всю жизнь потом будешь сотрясаться от брезгливых и унизительных воспоминаний о той холодной и шевелящейся во рту мерзости, которую ты был принужден жевать под камеры, под хохот и крики. Вспоминать этот несмываемый позор перед собственной совестью, эту алчность, эту подлейшую дурь свою — всю оставшуюся жизнь!

Что это за «менталитет»? Непонятно. Смотрю на «празднование» их Пасхи — праздника «без названия» и укрепляюсь в своей уверенности, что эти точно уже не успокоятся, пока не наделают чего-то действительно страшного в окружающем мире. Пришла их пора: в Ливии ли, в Сирии, в Грузии, на Украине, какая разница — не успокоятся, пока не запнутся о порог до крови... Они, эти янки, так и остались нацией подростков-дикарей, сбежавших от родителей и мстящих им за свою умственную и духовную несостоятельность, неполноценность. Акселераты, умственно несозревшие, с огромными горами мышц, с атомной бомбой, семьдесят процентов мировых ресурсов пожирающие для прокачки этих мышц, но не знающие совершенно, что такое совесть и Бог. Даже напротив — регистрирующие и позволяющие сектам сатанистов быть и называться религией наряду с христианством.

Эта никогда не воевавшая на своей территории общность, никогда, по сути, не голодавшая (Великая Депрессия не в счет, она не сравнится с потрясениями и войнами, которые настигали Европу и Россию) — общность авантюристов в пятом колене, сбежавших от суда и войн из Англии, убежденных глобалистов и узников собственного мнения о своей сверхдержавной акселерации, занятая лишь приобретательством, связанная лишь длинным долларом... Эта общность не может и никогда не сможет ни воспринять, ни почувствовать Божьего замысла о мире, о каждом из рожденных в этот мир, потому что не ищут они следов и намеков на

этот замысел, на промысел, на само бытие Божье. А без таких поисков ничто и сама жизнь человеческая, горсть пепла, не более того.

Стоит только взглянуть на их атаки магазинов в дни «Благодарения», когда снижаются цены — они сметают с витрин все подешевевшее, бьют, давят друг друга. И здесь — самая суть их бытия, а ведь это — сытое общество с самыми высокими доходами на душу населения!

Нравственные инвалиды от рождения. И что ни скажи об этой стране — будет истинной правдой. Зачем же им и Пасха Христова? Они изгнаны были не только из Рая Богом, но убежали и от традиций, и от обязанностей, от совести. И теперь кичатся своей «самобытностью» — хотя какая самобытность в стране без корней. Большой театр в Москве — ровесник Америке!

* * *

Подмосковьем на электричке. Октябрь месяц. Вечереет, и время от времени капли косым пунктиром чертят стекло. Проезжаю поселок, который отчасти строили итальянцы еще в XVIII веке. Теперь и не верится, что было когда-то время, и европейцы почитали за честь подзаработать в России. Строителями, гувернерами — и работали (с большой благодарностью!) за рубли.

Еду полями, когда-то заповедными, а теперь сплошь застроенными коттеджами, иные — до того безвкусной планировки, похожие на каменные мешки или камеры-изоляторы.

Мужичок с рюкзаком тяжело вышел на платформу, силясь, вскинул рюкзак на плечи. Дачник. Вскидывая тяжесть, от усилия и старания топнул ногой в резиновом сапоге прямо в луже. Лужа расплескалась, и тут же голуби на платформе вспыхнули белым исподом крыльев, захлопали, поднялись к небу. Три сизаря. Лужа пролилась в ручеек, подхватила белое голубиное перо, потащила куда-то, как судьба тащит бренную жизнь человеческую...

Мужичок шел, щурясь, вглядываясь в желтые дали осенних берез, в гущу лимонно-желтой и уже начинающей багроветь листвы, в пятнистую заросль осин. Низкие заброшенные дачки под трещавшими кронами и «коронами» разряда в сыром воздухе высоковольтных ЛЭП, заброшенные хибары и сараюшки, если только можно назвать сараюшками навесы из неструганного горбыля в пять-шесть досок, кое-как отгороженные от бомжей ржавой колючей проволокой и ржавыми же остовами панцирных кроватей и тут же вбитыми бревнами, досками. Это огородики вдоль железной дороги под ЛЭП. Видно, забраны они самозахватом, чтобы хоть как-то прокормиться простому люду: под посадку картошки. Работы в подмосковных городах нет никакой. Утренние электрички — битком в Москву. Там местный русский люд соперничает в наемной дешевизне рабочих рук с приезжими из дальних краев вахтовиками. Контролеров-ревизоров по десять человек на вагон электрички. А где на все про все денег взять? А пенсионерам? Пенсии едва ли хватит самому прокормиться. Вот и «самозахваты» под огороды. Смешные, с горькими слезами от взгляда на эти огородики-имения впечатления и думы.

И тут — тронула электричка, и навес над платформой вдруг распахнулся, открылся вширь, в самую даль и в небо: не дом, а усадьба новоиспеченного дворянчика-олигарха. Дворец с башней рыцарских времен, с лифтом, бассейном, мансардой (теперь это модно называть «пентхаусом») — в четыре этажа. С гаражами, со скатами под землю, с фонарями в виде круглых шаров в одном метре от земли — по европейской моде. А по периметру дома-дворца какие-то голые гипсовые Дианы с кувшинами на плечах у фонтанчика, а за ними следом — еще дачка. И еще — какого-то пресыщенного, вероятно, проворовавшегося человечка с натянутым на заборе объявлением: «Продается».

Так и живем: и за Сирию имеем право вступиться против американской военщины, и «результаты приватизации пересматривать не будем». Что же ждет нас, страну, где все на виду, но ни честь, ни право не действуют?

И не боятся они, эти новоявленные «дворянчики» ничего. А между тем ровно сто лет тому назад изголодавшийся люд взялся за вилы. Сто лет тому, как Россия покатилась под откос из-за безмерной пропасти между богатыми «барчуками», гнавшими по Москве в Яр, и голодными, замерзающими семьями работного люда. Сто лет прошло. Ничему не учит история, и вот опять бездна между «классами». Камеры видеозаписей, звонки с предварительным оповещением хозяйчиков, лампы на светодиодах, чтобы разом вспыхивали. Нет, брат, все это не поможет тебе, не поможет и охрана в пятнистой форме на КПП, если голодный люд заскучает по твоим погребам и твоему сверхдостатку. Кто не желает делиться малым, тот теряет все...

Так что же они, или так глупы навеки, или, напротив, умны? А может быть, близоруки? Или мудры, но как-то не по-русски? Я вышел вслед за мужичком на платформу, а вокруг этих «дворцов» — ни-ще-т-а-а! Голимая, кромешная. А ведь это не какая-то сибирская глушь, не пермские пустынные просторы, это почти что Москва!

Мужичок скинул рюкзак, долго стоял, прищурившись, на платформе, глядя из-под руки вдаль. Потом загнул голенища сапог и полез в болотину. Выломал там себе батог на дорожку и вдруг крикнул мне, оглянувшись, крикнул властно, как пристало бы и самому Пугачеву (что меня удивило, крикнул незнакомому как родному): «...Эй, милый, пособи-ка с рюкзачком, кажись, лямка оторвалась!» И мы, закинув рюкзаки повыше, потопали мимо забора-дворца-фазенды какого-то «нового» русского, каждый по своим делам...

По дороге, словно себе самому, но так, чтобы я слышал, он говорил:

— А я не завидую им. Пятиметровые заборы, боязнь за жизнь... Скучно, страшно...

И еще немного пройдя, то ли этим дворцам, то ли самому себе:

— Так, господа, знать, поживем еще? А? Поживе-ом!..

И столько силы, плотоядной какой-то злобы было в этих словах, сказанных врастяг: «По-жи-ве-о-м»! Не зависти, а именно злобы, что я невольно подумал: «Да уж не Пугачев ли и впрямь это, не Степан ли Разин или сам Болотников воплотился?». Коллективное бессознательное страшно оживает на полях моей страны. Слышат ли хруст орясины, в болоте выламываемой, во дворцах, на Манежной? Ох, вряд ли...

* * *

Необычное, неодинаковое влияние творчества, творческого процесса — на людей, обладающих настоящим даром, людей, носящих в себе искру Божью. Она или сжигает (эта искра Божья), изнашивает и нередко калечит, убивает человека (Ван Гог, Моцарт...), или, напротив, способствует долгожительству, придает смысл, стать и даже вкус бытию творческого человека (тоже, конечно, не без срывов и терзаний), охраняет и поддерживает существование творца и художника в этом бренном мире: (Толстой, Леонардо да Винчи, Тициан...).

* * *

Все люди, каждый из нас, приходят на эту землю, чтобы решить свои задачи. Найти свои ответы через боль и скорбь, холод и отчаяние. Но ответ на решенные задачи должен совпасть с ответами Божьими. А чтобы сошлось с ответом Божьим, указанным в конце задачника, необходимо задачник дорешать до конца, от

корки до корки. У кого-то нет ума. У кого-то воли, у кого-то — и того и другого. Третий не дает труда себе даже и задуматься. А между тем многие, даже и до глубокой старости в полном умственном здравии дожившие, не только не в состоянии успешно решать свои задачи, но даже и просто не в состоянии понять сам смысл того или иного вопроса. «Что требуется отыскать?» (Не говорю уже, что принять за неизвестное и обозначить: «икс, игрек, зет»). Но как же это странно! Не может же у жизни, этого строгого и больного явления, не может же быть таким низким «КПД» по осуществлению Божьего замысла о человеке.

И вот ноябрь. И листья, и яблоки в саду под окнами опали. Деревья голые, сиротски продуты и костяно, мертво качаются под ветром. Но наверху болтается одно яблоко, штрифель. Как же и почему же лишь оно одно и не упало? Непонятно.

Птицы, подлетая, проклевали это яблоко насквозь. Но оно не падает. Болтается от ветра, как теннисный мячик, скачет, как привязанное, но не падает... Какова его задача? Кормить ли собою, телом своим птиц? Или это дело случая: дожить, довисеть до невероятных заморозков? Или не зависит ни от чего? Или это яблоко — оно этакий «Прометей» растительного мира, бунтарь, саможертвенность которого очевидна? И уж тем более вопросы: так счастье ли вот этакое долгожительство, когда клюют и используют многочисленные замерзшие птицы ли, дети ли, внуки, правнуки — благо ли? Решение ли это итоговой Божьей задачи, даже и практический экзамен? Не яблоком ли, таким же проеденным, доживали и философы многие, и ослепший А.Ф. Лосев, и В. Шаламов, и Д. Лихачев? А во многих семьях старики? Но это примеры и приметы всем нам: «Держаться за ветвь жизни до последнего», по непостижимой для нас воле самого Создателя.

* * *

Какое несчастье для человека его душа! Эта субстанция — удивительнейшая сущность, сколок Бога, божественного зеркала, вживленная в плоть живого. Но вживлен этот «сколок» необработанным осколком. Колючим. Стеклянным. Острым. Не дающим покоя. Постоянно напоминающим о себе острой болью, присутствием совести, неудобствами размышлений. Сравнениями. Рефлексией.

Невероятное смешение человека и животного. Этот кентавр, постоянно мучимый сомнениями и поисками высшего порядка, и — самыми низкими плотскими желаниями. Какие сомнения по поводу Любви Божественной в этой боли от осколка и смешения сущностей посещают людей! Какие страсти терзают их по системе координат «свой-чужой» и по их «животной» сущности... Есть у Шопенгауэра метафора о человеческой воле — в виде терзающего самого себя великана, наносящего самому себе увечья. Я бы добавил, что он, этот великан (и даже именно кентавр!), терзает себя, пытаясь вырезать и вырвать этот драгоценный, острый и болящий осколок из своей плоти.

* * *

Ребенок трех лет, девочка, внучка. Прибежала ко мне, просит развернуть карамельку. Дала и ждет. Я разворачиваю эту карамельку, освобождаю от слипшейся бумаги и вижу столько счастья от ожидания гостинца, что мне вдруг становится чрезвычайно, почти до боли жаль ее! И сердце мое вдруг так разогревается, таким сочувствием к ней, к ее простоте и безобидной радости от сущего пустяка, от конфетки. Я осознаю вдруг, какая дорога «из желтого кирпича», дорога, длиною в жизнь, ждет ее, сколько всего и всякого ей суждено пройти, что становится так мучительно-нестерпимо... Я нахожу еще конфетку и угощаю ее еще раз. И вновь столько счастья и столько невыразимой радости! Как же мало, ничтожно мало

надо для счастья вот этим маленьким безобидным и трогательно-наивным людям, детям. Конечно, и огорчить их может тоже любой пустяк, и огорчить невероятно глубоко…

А ведь и я (теперь в это даже и не верится, так это было давно!) был таким же простым и наивным. Что и куда делось?..

Послушайте, я точно знаю, что все мы и каждый из нас вот так же просили у Бога благословения родиться на этой земле, как она, эта девочка, ждет от меня конфетку. И мало того, мы ждали от Него этого подарка: прийти в эту жизнь — точно так же, как моя милая и маленькая Соня ждет конфетку из моих рук… И мы Ему разве не казались наивными до слез, до трогательного жаления нас? И не от этого ли «воспоминания» души так защемило мое бедное сердце много пожившего уже человека!

□ □